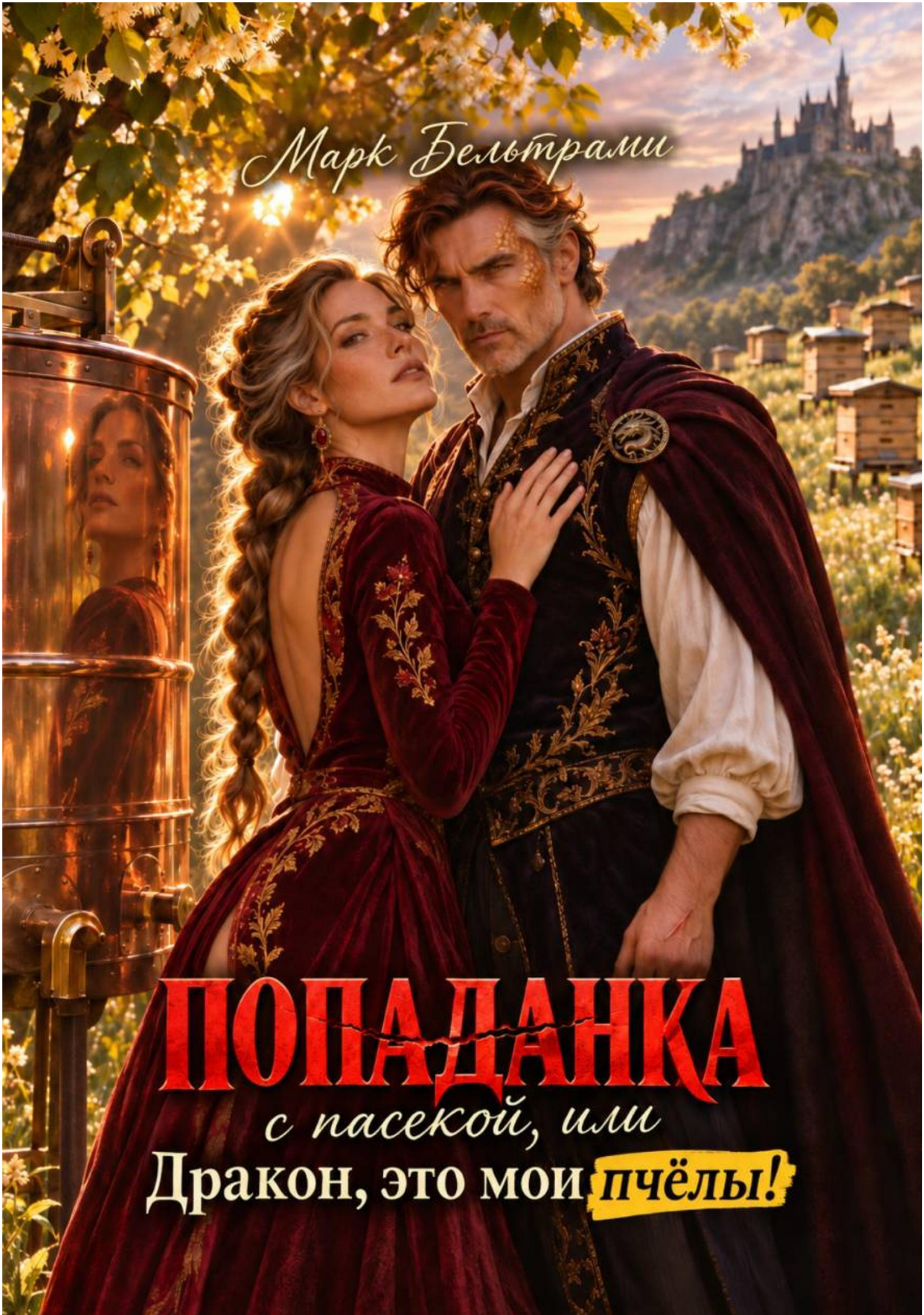

Марк Бельтрами
ПОПАДАНКА
с пасекой, или
Дракон, это мои пчёлы!

Марк Бельтрами

# Попаданка с пасекой, или Дракон, это мои пчёлы!

«Автор»
2026

**Бельтрами М.**

Попаданка с пасекой, или Дракон, это мои пчёлы! /
М. Бельтрами — «Автор», 2026

«Дракон, это мои пчёлы! Сойди с улья, ирод крылатый!» Этой фразой пасечница Груня Липатова встретила утро в чужом мире. Два года назад бывший муж решил за неё всё. Теперь верит только бумагам.В Луговии бумаг у неё нет. Лорд Элиан Дорн, янтарный дракон, объявил, что всё на его земле принадлежит ему, включая пчёл. Следом явился королевский сборщик Мортимер Квилл и потребовал пасеку для короны.Груня торгуется, учит местных пасеке и продаёт мёд, который здесь дороже золота. Лорд, похоже, теряет огонь и скрывает это, а королевский мёд разбавлен патокой.Уйти домой она может лишь в туман, а он приходит дважды в год. Здесь её дом и ульи, и отдавать их она не собирается.Элиан надменен, ворчлив и никогда не отвечает одним словом. Рядом с ним Груня спорит и смеётся.Как сохранить пасеку и не отдать себя в чужие руки? Можно ли довериться тому, кто привык решать за всех, если сама решать больше не позволишь никому?При подготовке книги использовалась нейросеть.

© Бельтрами М., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1. Дракон, это мои пчёлы! 5
Глава 2. Пчёл днём не возят 9
Глава 3. Расписку, будьте добры 13
Глава 4. Янтарная липа 17
Конец ознакомительного фрагмента. 20

# Марк Бельтрами
# Попаданка с пасекой, или Дракон, это мои пчёлы!

## Глава 1. Дракон, это мои пчёлы!

– Дракон, это мои пчёлы! Сойди с улья, ирод крылатый!

Так я заорала в то утро, ещё не успев проснуться до конца, и до сих пор не знаю, что меня подняло с водительского сиденья: гул или какое-то нутряное пасечное чутьё. Гул был не тот. Мои бурзянки гудят ровно, по-домашнему, а тут над прицепом стоял злой, высокий, дрожащий звук, как перед жалом, и я вывалилась из «буханки» в ночной рубахе и старых резиновых калошах, прихватив с приборной панели дымарь, потому что он лежал первым под рукой. Дымарь, правда, был холодный. Я это поняла уже на траве, когда шла к прицепу и трясла им, как кадилом.

Огромный янтарный зверь лежал брюхом на седьмом улье, вытянув шею вдоль ряда, и жмурился так сладко, будто его всю ночь не пускали на тёплую печку. Чешуя на нём отливала мёдом, каждая размером с мою сковородку, хвост свисал с платформы и подметал траву, а крылья он сложил по бокам, как складывает зонтик большой и очень довольный жизнью человек. Вокруг его морды крутилось облако моих девочек, они уже поняли, что грелка на их крыше живая, и возмущались как могли. Одна села ему на нос между ноздрями, потом вторая, потом сразу три.

Зверь открыл жёлтый вертикальный глаз и посмотрел на меня без малейшего страха. Потом ноздри у него дрогнули, он собрался и чихнул. Из пасти вырвался не огонь, а серый густой дым, пахнущий остывшей золой, и меня обдало этим пеплом с головы до калош.

– Ох ты ж ёлки-палки! – Я закашлялась, замахала дымарём и вдруг сообразила, что он пустой, а значит, придётся действовать по старинке. – А ну брысь, кому говорю! Там дети мои, там матка, ты же их передавишь! Пошёл вон, я кому сказала!

Я нашла в кармане прицепа спички и сухую труху, раздула дымарь за полминуты, как не раздувала его и на спор, и пошла на зверя, пуская белый едкий дым ему прямо в морду. Он морщился, трясся, пытался отодвинуться от дыма, а пчёлы тем временем нашли самое нежное место, ноздрю, и вцепились в неё всей командой. Дракон чихнул второй раз, третий, затрещал суставами, как старая телега, и наконец сполз с улья в траву, оставив на крышке вмятину и гору пепла. Я успела осмотреть седьмой улей, только когда он отошёл на три шага: крышка перекошена, но пчёлы в леток возвращаются без паники, значит, матка цела.

Тут я и подняла голову. Вот тогда и увидела всё сразу.

Липового леса не было. Накануне вечером я ставила «буханку» на кочёвке у реки Нугуш, под старыми липами, где у меня в этом году стояла пасека на цвете, а теперь вокруг лежал склон, поросший золотым донником по пояс, и по нему были разбросаны липы, совсем другие, широкие, с мелкими цветками, которые горели на солнце янтарём. Над склоном, на скале, как на каменной ладони, стоял замок с зубцами и башней. Настоящий, сероватый, со стягом, который лениво шевелился на ветру. Никаких проводов. Ни единого столба. Ни дороги, ни реки, ни леса.

– Батюшки… – сказала я и села на подножку прицепа, потому что ноги отказали раньше головы.

Тем временем зверь повёл плечами, и по его чешуе пошла рябь, будто по воде. Он стал уменьшаться, втягиваться, складываться, и через несколько секунд на траве стоял высокий

мужчина лет сорока, с тёмными медными волосами, в которых у висков прорезалась седина, и с такими жёлтыми глазами, что мне стало неловко за собственные. Одет он был в тёмный камзол и сапоги, как артист из сериала про королей, а лицо у него было такое, будто это я улеглась на его крышку и не желаю с неё слезать. На правой ноздре вспухала красная точка. Он потёр её рукавом, брезгливо оглядел пятно пепла на этом рукаве и выпрямился:

– Позвольте заметить, сударыня, что всё, стоящее на моей земле, по закону принадлежит мне, и ваши жужжащие ящики, увы, не исключение, – произнёс он так спокойно, будто читал мне меню в хорошем трактире.

Я открыла рот. Он говорил на чужом языке, это я поняла сразу, по тому, как двигались его губы и как гулко, округло звучали слова. Только я при этом всё понимала, каждое слово, как понимают речь во сне. И сама отвечала на этом же языке, хотя никогда его не учила.

– Ящики? Это ульи, милорд! – Откуда взялся «милорд», я не знала, оно просто выскочило. – И в них мои девочки, а не ваши подданные!

– Вот как. – Он поднял бровь, и бровь у него вышла выразительная, судейская. – Девочки, значит. Позвольте уточнить: девочки умеют платить подати и подчиняться владельцу земли? Мне, признаться, до сих пор казалось, что насекомые в этом смысле народ неблагодарный.

Тут бы мне и надо было возмутиться как следует, но вместо этого я почему-то посмотрела на свои калоши. Левая была вся в пепле, из правой торчал пучок донника. Я вспомнила, что на мне ночная рубаха, до колен, с выцветшим зайцем на груди, и что весь мир, видимо, вертится сегодня против часовой стрелки. Мужчина продолжал стоять и ждать, а я вдруг сказала совершенно не то, что собиралась:

– Где я?

– В долине Медвянка, на Липовом склоне, – ответил он, чуть мягче, чем раньше, и мне показалось, что в этот момент он впервые заметил, как меня трясёт. – Этот склон принадлежит мне, лорду Элиану Дорну, и я, хоть и не страдаю избытком любопытства, был бы весьма признателен, если бы вы объяснили, каким образом посреди ночи здесь оказалась железная телега с двадцатью ящиками, стоявшая вчера, если мне не изменяет память, на пустом лугу.

Я его почти не слышала. Я полезла в «буханку», нашла в бардачке телефон, включила, и экран загорелся нормальным серым светом, 6:12, суббота, четвёртое июля. Сети нет. Ни одной палочки, ни «Нет сигнала», ни даже значка «аварийные вызовы». Только время и дата, как напоминание, что где-то есть другая жизнь, в которой сейчас тоже суббота. Я потыкала в экран, перезагрузила, подняла его над головой, залезла на крышу «буханки», хотя в калошах это было занятие для цирка, и всё равно ничего.

– Нет, – сказала я вслух, спрыгнув обратно. – Нет, нет, так не бывает. Я вчера ставила машину у Нугуша. Я же из Ташлов, у меня там дом, у меня там мама в… мамин дом, понимаете? У меня там кошка у соседки…

Я замолчала. Кошки у меня не было, это я зачем-то придумала, чтобы голос звучал как у нормального человека. Села на подножку «буханки», упёрла локти в колени, и слёзы пошли сами, без всхлипов, просто потекли по щекам и закапали на ночнушку, на зайца. Я плакала, как плачут от злости: некрасиво, кулаком по лицу, шмыгая носом. Лорд, надо отдать ему должное, не ушёл и не произнёс ни слова. Он только отошёл к тополю и стал разглядывать седьмой улей, заложив руки за спину, как человек, который очень хочет дать женщине выплакаться и при этом не желает быть причастным к этому.

Минут через пять я вытерла нос подолом, потому что платка не нашла, и подумала: так, Груня. Тебе сорок два года. Двадцать лет ты держишь пчёл и два года как разведена, и всё, что с тобой могло случиться плохого, уже случилось, потому что хуже, чем стоять в зале суда и слушать, как Вадим говорит «я сам решу», не бывает. А тут всё-таки замок, солнце и, похоже, живые люди. Дышать можно. Это меня и вытащило: злость, самая обычная, на себя, на туман, на крылатого ирода, и я поднялась. Для начала я обошла «буханку» кругом, как

обходят машину после аварии, и обнаружила то, от чего мне опять стало не по себе: позади колёс в донник не уходило ни одной колеи. Трава стояла нетронутая, высокая, с росой, и по ней нельзя было понять, откуда я приехала, словно «буханку» с прицепом поставили сюда с неба, как ставят чашку на блюдце. Я присела, потрогала мокрые стебли, понюхала ладонь: пахло мёдом и холодным камнем, совсем не тем лесом, где я вечером разувалась у реки. Здесь не было ничего знакомого, кроме меня, моих калош и двадцати семей, которые, как оказалось, перенесли переезд лучше хозяйки.

– Вы мне вот что скажите, милорд, – начала я, всё ещё шмыгая. – Пчёл вы мне напугали, улей мне помяли, а теперь я должна вам объяснять, откуда я взялась? Сами бы объяснили, откуда у вас в долине взялись липы, которых ещё вчера…

Я осеклась. Липы. Мои пчёлы уже давно улетели с прицепа. Они шли прямым, дружным потоком туда, на склон, к тем самым янтарным деревьям, так, как идут только на богатый взяток, как не шли у меня ни в одном году, и в воздухе стоял ровный гул, густой, как в хорошее лето на липе. Я зашла за прицеп и посчитала. Седьмой улей помят, но жив. Третий, двенадцатый, пятнадцатый: везде у летков толкотня, пчёлы выбегают и возвращаются с обножкой, и цвет у пыльцы странный, золотой, почти оранжевый. Я открыла двенадцатый, пока ничего не понимая. Рамки были тяжёлые. За ночь, в чужом месте, без единого дня разведки.

– Ох ты ж мои хорошие, – прошептала я в улей. – Вы что же это, девочки… вы же вчера ещё никакой липы не видели, а вы уже понесли.

Позади меня раздалось покашливание, и я обернулась. Лорд стоял в двух шагах от меня и смотрел вовсе не на меня. Он смотрел на рамку в моих руках, и глаза у него были голодные. Жадно. Неотрывно, будто на кусок хлеба после недели поста. Он даже губу прикусил. Когда увидел, что я заметила, мгновенно выпрямился и сделал лицо надменное, как у вывески.

– Любопытно, – сказал он. – Весьма любопытно. Ваши, как вы выражаетесь, девочки очень быстро освоились. Мне бы хотелось знать, сколько мёда они дают с одной семьи за сезон, и в каком количестве, и какого качества. Разумеется, из чисто хозяйственного интереса.

– Из хозяйственного? – Я прищурилась. – Что-то у вас, милорд, хозяйственный интерес на лице написан, как у кота над сметаной. Слюни подберите.

Он закашлялся. Я решила, что нечаянно попала в точку, но он тут же взял себя в руки и ответил спокойно, ровно, так, что я тут же пожалела, что вообще открыла рот:

– Благодарю за заботу о моём лице, сударыня. Однако позвольте напомнить, что вы находитесь на чужой земле, в чужой ночной рубашке, в лужице чужого пепла, и совершенно не представляете, какие здесь порядки. Я предлагаю разговаривать по-деловому. Как вас зовут?

– Аграфена Семёновна Липатова, – сказала я, подняв подбородок. – Можно Груня. Пасечница. Вот мои ульи, вот мои пчёлы, вот мои бумаги, сейчас покажу.

Я побежала в «буханку» и вернулась с папкой, где у меня лежало всё: ветеринарные справки на пасеку, свидетельство о регистрации кочёвки, акт осмотра, выписка на мамин дом в Ташлах. Я разложила это на капоте и тыкала пальцем в печати, как только что тыкала в телефон, и объясняла, что вот тут стоит «Бурзянский район», вот тут подпись районного ветеринара, вот тут на двадцать семей, и всё по закону, по самому настоящему закону. Лорд склонился над капотом, подпер подбородок рукой и читал по диагонали, шевеля губами, как человек, который видит эти буквы впервые. Потом выпрямился, вытер пальцы о платок, словно прикасался к чему-то липкому, и сказал:

– Бумаги, без сомнения, прекрасные. Печати, насколько я могу судить, отличные, подписи размашистые. Но видите ли, сударыня, это бумаги земли, которой здесь нет. А в Луговии существует Медовая правда, и первая её статья гласит: «Что на земле лорда, то лорду». Всё, что стоит на моём склоне, моё. Дом, дерево, телега, ящики, вы вместе с вашим рукоделием, пчёлы, и мёд.

– Да вы шутите. Я человек, а не телега!

– Человек, у которого нет в Луговии ни родни, ни хозяина, ни подтверждённых прав, – он развёл руками, и жест вышел почти любезный. – Что уже само по себе, согласитесь, делает вас чужеземкой, а вопрос чужеземцев решается отдельно и, как правило, не в их пользу. Я не хочу вас обидеть, я лишь называю вещи своими именами.

– А я не хочу вам нагрубить! – рявкнула я. – Но если вы тронете хоть один мой улей, я вам… я вас этим дымарём отлуплю, понятно? Вы лорд, а у меня тут рамки с расплодом, они от толчка гибнут, а вы думаете, это что, корзины с яблоками? Ох, ну вы и… ну просто ирод, правда, ирод, хоть и красивый!

Он замер. Я тоже. Слово «красивый» повисло между нами, и я готова была откусить себе язык вместе с калошами. Лорд медленно повернул голову, посмотрел в сторону замка и пробормотал вполголоса:

– Гхм. Мне казалось, что подобными замечаниями меня не удостаивали лет десять.

Я не ответила. Уши у меня горели, как печка. Хотелось сказать про Вадима, про то, как он двадцать лет решал за меня, а я теперь всю жизнь ловлю в чужих мужчинах эту же осанку хозяина, но говорить об этом было некому и незачем. Я достала из кармана «буханки» химический карандаш, раскрыла тетрадь и, чтобы руки занять, начала писать: «4 июля, суббота. Туман. Склон. Дракон». Потом зачеркнула «Дракон» и написала «лорд Дорн, ирод». Карандаш сломался. Я чертыхнулась, нашла в аптечке запасной, а он стоял над душой и читал через моё плечо, и от него пахло дымом, разогретой хвоей и чем-то неуловимо тёплым, медовым.

– Вы ведёте записи, – заметил он. – Похвальная привычка. Меня удивляет только, что вы записываете события в тетрадь, а не в договор.

– Это пасечный журнал, милорд. Туда всё идёт: дата, погода, взяток. Что ни случилось, то в журнал, потому что без записи оно будто и не было.

– Любопытная философия, – произнёс он и вдруг сморщился, прижав ладонь к груди, коротко, едва уловимо, тут же отнял её и сделал вид, что поправляет манжету. Я заметила, но подумала только, что у человека, наверное, ушибы от моих пчёл, и тут же об этом забыла.

Он отошёл к краю склона, поглядел на замок, на солнце, которое поднялось уже довольно высоко, и вернулся, держась прямо, будто на параде. Я успела спрятать журнал в карман рубахи и скрестить руки на груди. Мне хотелось, чтобы он сказал: ладно, погорячился, оставайтесь. Он не сказал.

– Подведём итог, сударыня. Закон ясен, обстоятельства необычны, а потому я готов проявить снисхождение, которое, смею вас уверить, мне вовсе не свойственно. Я не намерен силой изымать то, что вы называете своими девочками, и тем более не намерен делить склон с неизвестными лицами. – Он помолчал, неторопливо расправляя манжет. – До заката, сударыня, ваши ульи либо покинут мою землю, либо станут моими. Выбор, смею надеяться, очевиден.

# Глава 2. Пчёл днём не возят

Через час после ухода лорда я сидела на подножке «буханки», уже одетая в штаны и толстовку поверх майки, и считала. Считала на пальцах, потому что на бумаге выходило ещё страшнее. Полбака бензина, это литров тридцать пять, а до ближайшего города неизвестно сколько. Двести рублей мелочью, которые здесь, судя по всему, годились разве что на грузила. Двадцать ульев, в каждом по семье, и все они в этот самый момент таскали на себе чужой, золотой, невиданный взяток и не собирались никуда переезжать. И ни одной мысли, куда ехать. Дорога вниз, к деревне, была, это я видела, вторая уходила к скале, к замку, а больше ни тропинки, ни указателя, и чем дольше я смотрела на склон, тем сильнее мне хотелось, чтобы он оказался декорацией.

Ульи я к тому времени уже сняла с платформы и расставила на траве в два ряда, как положено, летками на юг. Работа не требовала головы, и это спасало. Руки таскали, ставили, выравнивали, закрывали и открывали, а голова всё равно крутила один и тот же вопрос: что я скажу, когда лорд придёт на закате, и как я объясню человеку, не знающему азов, что с пасекой так не поступают.

– Эй, тётенька, а ваша телега сама ездит или её лошади тянут?

Я вздрогнула так, что чуть не уронила стамеску. Из зарослей донника, шагах в десяти, торчала рыжая голова, похожая на головку одуванчика, а под ней виднелась худая шея и серая от пыли рубаха. Мальчишке было лет одиннадцать. Босой, глаза круглые, зелёные, а в переднем зубе щербина, такая, что хоть пропускай сквозь неё ниточку. Он разглядывал «буханку», вывернув шею, и от изумления даже перестал прятаться.

– Сама, – ответила я. – Только бензин нужен, а он кончается. Ты чей, горе луговое? И что ты там делаешь в траве?

– Я Тоби, – сказал он, не отрывая взгляда от колёс. – Тобиас. Я при конюшне, но мне сегодня велели не торчать, потому что лорд взбешённый с утра, а когда он такой, то всем лучше исчезнуть. А я исчез сюда. А-а, а правда, что вы на милорда накричали?

– Правда, – призналась я. – Но он первый на моих пчёл улёгся.

– Во! – выдохнул мальчишка и присвистнул сквозь щербину, коротко, с уважением. – Пчёлы, значит, это они?

Он подошёл на два шага ближе, всё ещё осторожно, как подходят к чужой собаке, и я увидела, что у него губы потрескались, а под глазами синеватые тени. Живот у него заурчал так громко, что я услышала с подножки. Тоби покраснел, и вот тогда я встала, достала из бардачка батон, который купила вчера на кочёвке в сельпо, отрезала ломоть, а ложкой из банки, которую держала для себя на чёрный день, намазала мёд. Протянула. Тоби взял двумя руками, откусил, зажмурился, и мне показалось, что у него на секунду перестали работать все остальные мышцы.

– Ну как? – спросила я.

– Госпожа, – прошептал он, когда прожевал. – Вы что, с ума сошли?

– Вот тебе раз. Почему это?

– Это же мёд! Настоящий! – Он смотрел на хлеб, как на живого птенца. – Такой, как раньше, до мора. Он же дороже коровы! Целая кринка, говорят, десять крон, а корова шесть. Вы мне, получается, корову на хлеб намазали?

Я рассмеялась, причём сама не ожидала, что засмеюсь, и смех вышел тёплый, как будто кто-то выпустил из меня лишний пар. Потом перестала, потому что поняла: он не шутит. Мальчик держал хлеб с мёдом двумя руками и боялся откусить ещё раз.

– Ешь, – сказала я. – Ешь, пока не остыло. У меня таких коров целый прицеп. А потом расскажешь мне про вашу страну, а то я как с луны свалилась.

Он доел, облизал пальцы, вытер их о штаны и принялся объяснять, и из его рассказа, сумбурного, с перескоками, с «а вот ещё» и «а ещё», я узнала, что страна называется Луговией, что в этой долине, Медвянке, раньше было полно диких пчёл, а потом они вымерли, и это называют медовым мором. С тех пор мёд за золото, настоящего никто не видел, сборщик возит какой-то «казённый», а лорд мрачный и никого не слушает. Что в деревню ведёт тропа вдоль мельничного ручья, и что староста Джоб, если с ним говорить в правое ухо, расскажет всё, что надо знать чужеземке. Слово «чужеземка» он произнёс уважительно, как «генерал».

В деревню мы пошли вдвоём, через два часа. Ульи я оставила на траве, обложив летки сеткой от ос, и, хоть сердце ныло, понимала: к закату надо вернуться со знанием, а не с пустыми руками. По дороге Тоби показывал мне камни, на которых любит греться уж, место, где нашли однажды волчий след, и ту самую липу, под которой, по его словам, прадед нынешнего лорда когда-то поссорился с прадедом Джоба из-за межи. Я слушала и шла, подгибая колени, потому что склон в калошах, конечно, не годится, и пришлось надеть кеды, которые я возила на случай грязи.

Медвянка оказалась деревней дворов на тридцать, с колодцем посередине площади, с кузней, трактиром под вывеской «Медный котёл» и двухэтажным домом с узкими окнами, перед которым стояла коновязь. Домишки были опрятные, с резными наличниками и пустыми огородами, а базар, как пояснил Тоби, сегодня уже разошёлся, потому что по субботам торгуют только до обеда, а мёда на нём всё равно нет. Народ высыпал на крыльцо посмотреть на меня, потому что слухи в долине бегают быстрее, чем лошади. Бабы шептались, мужики тёрли бороды, а одна девочка лет шести спряталась за мать и показывала на мою толстовку с надписью «Нугуш-2019».

Староста нашёлся у мельницы, где он тесал что-то топором, огромный, с бородой лопатой и руками, в которых топор казался перочинным ножиком. Джоб, как и говорил Тоби, был глуховат на левое ухо. Я обошла его справа, представилась, и он вытер ладони о фартук и пробасил:

– А, чужеземка. Знаю. Слыхал уже. Вы, госпожа Липатова, не из тех, кто сам пришёл. Вы из тумана. Таких мы тут встречали, хоть и давно.

– Из какого тумана? – не поняла я.

– Да из обычного, – он махнул рукой, точно речь шла о погоде. – Ночью был, вы въехали, утром вас нашли. Дело-то известное. Вы, госпожа, скажите лучше, чем помочь. У нас на чужеземцев один закон, и тот строгий.

Я рассказала, что мне нужно ровно два часа, чтобы понять, где я и чего от меня хотят. Он усадил меня на бревно, велел Тоби принести воды, сам сел напротив, положил топор на колени и принялся объяснять, не торопясь, обстоятельно, с остановками, как будто диктовал мне статью для газеты. Десять лет назад случился медовый мор. Дикие пчёлы вымерли за одну весну, борти опустели, и с тех пор мёд, настоящий, магический, с янтарной липы и золотого донника, стал редкостью, дороже золота. Долиной владеет лорд Дорн, как и его отец, и дед. Над лордами стоит Медовая правда, свод старых законов, и первая статья в нём: «Что на земле лорда, то лорду».

– Это я уже слышала, – сказала я мрачно. – От самого милорда. А вторая?

– Вторая про наделы, она вам ни к чему. Нужна двенадцатая, про чужеземцев, – Джоб почесал бороду. – Имущество чужеземца без хозяина отходит короне. Но корона далеко, пять дней верхом, и одна у нас Перевальная дорога, больше сюда никто не ходит. Так что, пока сборщик не приехал, всё решает лорд.

– Какой ещё сборщик?

– Королевский. Мортимер Квилл. Сухой такой, в очках, с чернилами на пальцах, он собирает медовую десятину с трёх долин. Приедет, поглядит на вас, на ваши ящики и скажет, что положено по закону. Вы, госпожа, ему лучше сразу бумаги покажите, у него страсть к бумагам.

Я чуть не закричала от радости: бумаги, вот это мой язык. Но тут же стало неспокойно: слишком много людей собралось вокруг моих ульев с одним и тем же вожделением. Лорд, сборщик, корона, и все на мёд смотрят, как на золото. А я пасечница, я просто хотела отработать лето и вернуться домой.

– А уехать мне отсюда можно? – спросила я. – У меня бензин… то есть топливо для телеги. Если я поеду по этой вашей Перевальной дороге, быстро доберусь до города?

– Пять дней верхом, – повторил Джоб. – На вашей телеге, может, и быстрее, да только дорога горная, местами тропа. А на что вам в столице? Вас там спросят, откуда пчёлы и по какому праву. Нет, госпожа, вам лучше на склоне остаться. По-хорошему с лордом договориться, и всё образуется.

Я хотела спросить, как договориться с человеком, который объявил мои ульи своими до заката, но тут из-за угла мельницы вывалилась круглая женщина в крахмальном чепце, со связкой ключей на поясе, и бросилась ко мне с таким видом, будто потеряла и вот нашла.

– Ох, деточка! – воскликнула она и сжала мои руки в своих мягких, тёплых ладонях. – Ох, деточка, ты наша! Мне уже полдеревни про тебя нашептало, а я-то думаю: кого это бог послал? Я Хэтти, экономка замка, ты не думай, я не со зла, я просто так. Ты бледненькая, бедная, небось ничего не ела. Пойдём, я тебе тут пирожок…

– Хэтти, подожди, – попыталась я встрять, но куда там.

– Ты на лорда не обижайся, – зашептала она, оглядываясь по сторонам, и в её шёпоте было столько заботы и столько любопытства сразу, что я невольно придвинулась ближе. – Он вообще-то хороший, только который год сам не свой. Мрачный, как туча перед грозой, ходит по замку, никого не слушает, ночами на башне торчит. А прежде-то пел, представляешь? Весёлый был, по утрам над двором напевал, я с кухни слышала. Теперь молчит. Вот и срывается на всех. А тут ты ещё, да с этими, ох, жужжащими… Ты уж не серчай на него, деточка, уж потерпи.

– Хэтти, я человек терпеливый, – сказала я, – но не до такой степени, чтоб отдавать пчёл. Мне двадцать лет понадобилось, чтобы собрать эту пасеку.

– А ты не отдавай! – Она всплеснула руками и тут же испугалась собственной смелости. – То есть не мне решать, конечно. Но ты поговори с ним ещё. Он выслушает, он человек справедливый, только гордый. Ох, гордый!

Она сунула мне пирожок с капустой, ещё тёплый, и ещё один, про запас. Я ела на ходу, пока Тоби вёл меня обратно, и никогда в жизни пирожок не казался мне таким вкусным. Всю дорогу меня не оставляла мысль: все ждут моего решения, а решать-то не из чего.

К закату я успела проверить каждый улей, вытащить из «буханки» всё, что могло понадобиться для разговора, и надела чистую рубаху, потому что при лорде хотелось быть в одежде получше ночнушки. Солнце стало садиться за замок, склон окрасился янтарным, как будто его облили мёдом, и над башней взвились три чёрные точки. Они росли, и я поняла, что это не птицы, а двое всадников и прилетевший с ними дракон. Дракон снизился, прошёл над ульями, и поднялся такой ветер, что я схватила ближайший улей обеими руками, чтобы его не сдуло. Лорд опустился на траву, огромный, янтарный, свернул крылья и обернулся человеком. Со стороны дороги подъехали двое стражников на тяжёлых конях, в кольчугах, и один из них нёс верёвки и носилки, как для мёртвых.

– Ну что, сударыня, – произнёс Элиан Дорн, поправляя перчатку, – день прошёл. Надеюсь, вы использовали его с пользой и нашли, как организовать отъезд.

– Нашла, – сказала я. – Организовала. Вы можете взять любой улей, милорд, только сперва послушайте. Пчёл днём не возят.

– Прошу прощения?

– Пчёл днём не возят, милорд! – повторила я, повысив голос, потому что стражники уже шагнули к ульям. – Днём они в поле, а на закате возвращаются не все сразу, и если утащить улей, пока поздние не долетели, то все те, кто на взятке, останутся без дома, и они будут кру-

жить над пустым местом до смерти. Ночью везти можно, да только при закрытых летках, и то не жарой, а в прохладу, и не на ваших носилках, а на нормальной телеге с рессорами, иначе соты оборвутся. А вы хотите, чтобы я вам увезла двадцать семей за ночь, на верёвках? Это ж не мешки с картошкой!

Лорд не ответил, и я вдруг ощутила, что говорю уже совершенно спокойно, без визга, по-деловому, и что именно так надо было с самого начала. Я взяла за рамку, показала ему сот, объяснила про расплод, про матку, про то, как пчёла после вылета ориентируется по солнцу и по запаху улья. Он слушал, склонив голову, и в его жёлтых глазах появилось что-то вроде настороженного любопытства. Только когда я кончила, он поинтересовался:

– Следовательно, вы утверждаете, что при насильственном переносе улья пчёлы погибнут?

– Многие погибнут, – ответила я. – А выжившие злые будут, как черти. Пчёл днём не возят, милорд. Хотите мёртвых пчёл, так и скажите, я вам их в бумажку заверну, чтоб не рассыпались. Только какой в них прок? Вы же не за пчёлами пришли, вы за мёдом. А мёд им делать живым. Лорд отвернулся к ульям, помолчал, почесал переносицу и сказал, словно ни к кому не обращаясь: – Гхм. Вы торгуетесь со мной на моей же земле, сударыня, и, признаться, я давно не встречал подобной дерзости. – Он помолчал. – Впрочем, мне необходимо признать, что в ваших рассуждениях есть доля здравого смысла. Я не специалист по насекомым. Мне, как человеку практическому, важно получить мёд, а не груду мёртвых тел, и потому я готов предоставить вам отсрочку. До конца липового цвета.

– До конца цвета? – Я выдохнула, и у меня задрожали колени. – Это сколько?

– Недель шесть, если лето не обманет. Вы успеете собрать то, что вам нужно, а я успею решить, что с вами и вашим хозяйством делать. – Он слегка поклонился, как кланяются в театре, по-актёрски. – Разумеется, склон остаётся моим.

– Ну, тут я с вами не соглашусь, – сказала я. – Скажите вслух, милорд, что пчёлы мои. Только пчёлы, остальное поделим. Хоть при этих двоих скажите, чтоб слышали.

Стражники переглянулись, и один из них, тот, что носил верёвки, спрятал их за спину. Лорд улыбнулся, коротко, одним уголком рта, без тепла и, как мне показалось, с огромным удовольствием.

– Сударыня, я с превеликим уважением отношусь к вашему упорству. Однако, увы, я не могу сказать вслух того, что противоречит закону Луговии, и тем более в присутствии стражи. Скажем так: до конца липового цвета ваши девочки останутся при вас. А кому они принадлежат, это обсудим позже, когда вы убедитесь, что договориться со мной выгоднее, чем спорить.

Он повернулся и ушёл по склону, сопровождаемый стражниками, а я ещё долго смотрела ему в спину, злая и довольная одновременно. Победа вышла какая-то половинчатая, но всё же победа. В ту ночь я не смогла уснуть до самой полуночи, ворочалась на койке в «буханке» и слушала, как за стенкой шуршит под колёсами Тоби, который, оказывается, и не думал возвращаться на конюшню. Я вылезла, нашла его свернувшимся на траве, подложившим под голову локоть, и накрыла своей ватной курткой. Он что-то пробормотал во сне, подтянул колени к груди и затих, а я стояла над ним и думала, что мальчишку никто не искал.

Воскресенье прошло в работе. Я осмотрела все двадцать семей, сменила прогнившие подставки, подкормила слабый улей, записала в журнал: «5 июля. Липа. Взяток небывалый». Тоби таскал воду, хлопал в ладоши, когда я называла ему части улья, и к вечеру знал уже, чем рамка отличается от магазина, а чем матка от трутня. Хэтти прислала с кухни корзину снеди и записку, которую Тоби прочёл мне вслух: «Деточка, ешь». Больше никто не приходил, и склон жил своей жизнью, жужжа, звеня и пахнув липой так, что кружилась голова.

А утром на дороге из деревни показалась повозка с бочками, и Тоби, побелев, прошептал:

– Сборщик.

# Глава 3. Расписку, будьте добры

Сборщик стоял у третьего улья, прижимая к носу белоснежный платок, и читал вслух. Не мне, не стражникам, не гудящему над его головой облаку, а словно самому небу, нараспев, как читают поминальную молитву.

– «Статья двенадцатая. Имущество чужеземца без хозяина отходит короне, и да будет оно описано, взвешено и опечатано в течение трёх дней со дня обнаружения».

Он был худой, длинный, в сером сюртуке с блестящим значком «пчела под короной», в серебряных очках, за стёклами которых глаза казались двумя мелкими пуговицами. Пальцы, державшие свиток, были в чернильных пятнах по самые костяшки. Рядом переминался бледный молодой человек с папкой под мышкой и чернильницей на шнурке, а у повозки, на безопасном расстоянии от ульев, топтались два стражника: один рыжеусый, плотный, спокойный, а второй, высокий, как жердь, пятился от каждой пчелы, как от осы с ножом. Высокий, как я потом узнала, звался Гидеон, и боялся он пчёл с детства.

– Господин сборщик! – Я подошла быстрым шагом, отряхивая руки о фартук. – Вы бы отошли от третьего. Он у меня нервный, а вы сейчас стоите прямо на его дороге домой.

Сборщик не спеша сложил свиток, снял очки, протёр их платком и снова надел. Вся процедура заняла времени ровно столько, чтобы я успела пожалеть о том, что вообще раскрыла рот.

– Мортимер Квилл, королевский сборщик медовой десятины, – представился он голосом сухим, как скрип пера. – Имею честь говорить с госпожой Липатовой? Мне сообщили, что на Липовом склоне появилась чужеземка с двадцатью ульями, причём без видимого владельца и без явных прав. С вашего позволения, я обязан констатировать, что по двенадцатой статье Медовой правды ваше имущество подлежит описи и передаче в казну. Мм. Вы можете возражать, но не раньше, чем я закончу.

– Я возражаю прямо сейчас, – сказала я. – У меня есть владелец. Это я.

– Сайлас, – Квилл повернулся к своему писарю, – запишите, пожалуйста: «заявила, что владельцем является она сама».

Писарь, бледный, как свежий творог, принялся строчить. Рыжеусый стражник Эдмунд подошёл к улью номер один, постучал по крыше сапогом, прислушался и, видимо, убедившись, что пчёлы его пока не трогают, начал считать вслух. Я хотела закричать на него, но Квилл поднял палец, и я удивилась, насколько этого жеста оказалось достаточно, чтобы я замолчала.

– Мм. И ещё одно, – продолжил он, будто мы обсуждали погоду. – Бумаги иной страны не имеют в Луговии силы. Любые. Даже самые красивые. Вы, безусловно, понимаете, что не каждый документ следует брать в расчёт.

Я рассвирепела окончательно. Бумаги были моей последней крепостью, и услышать, что их не считают бумагами, всё равно что услышать, что мой дом не дом. Но сказать я ничего не успела, потому что над склоном прошёл холодный шорох, как от большой простыни, и на траву, на разложенные мной рядки, упала огромная тень.

Гидеон закричал. Тоби, прибежавший с ведром, с размаху сел на землю. А с неба на склон, подминая донник, опустился янтарный дракон, и ветер от его крыльев швырнул мне волосы в лицо так, что я забыла, зачем разевала рот. Он приземлился между мной и Квиллом, уперев лапы в землю, сложил крылья, и через секунду на этом месте уже стоял лорд Дорн, в тёмном камзоле, с чуть растрёпанными ветром волосами, и сухо кивнул сборщику.

– Господин Квилл. Какая неожиданность.

– Милорд. – Сборщик слегка поклонился, но платок от носа не убрал. – Я как раз знакомил госпожу Липатову с положением вещей. Позвольте заметить, что дело это казённое и вашего вмешательства не требует.

– Позвольте заметить в ответ, – сказал Элиан Дорн, медленно, с наслаждением, как человек, который давно ждал случая произнести эти слова, – что склон принадлежит мне, а на моём склоне стоят ульи. По первой статье Медовой правды всё, что на земле лорда, принадлежит лорду. Следовательно, пасека моя, а госпожа Липатова находится под моей защитой, пока я не решу, как с ней поступить.

– По двенадцатой статье имущество чужеземца без хозяина отходит короне, – парировал Квилл, и пуговицы глаз за очками не мигали. – Пасека не ваша. У неё нет хозяина, а значит, корона.

– У неё есть хозяйка, господин сборщик, – сказал лорд. – Она стоит перед вами, и ей, смею заметить, отнюдь не безразлична судьба вашего платка, который вы так старательно к себе прижимаете.

Они заспорили. Говорили вежливо, ровно, не повышая голоса, и от этого было ещё страшнее: так спорят люди, которые знают друг друга много лет и ненавидят изысканно. Статьи летели одна за другой, как мячи, десятая, вторая, двенадцатая, четвёртая, я перестала следить уже на втором круге, но слышала главное. Оба говорили «пасека», оба говорили «мёд», но ни один не сказал «женщина, которая двадцать лет таскала эти ульи на себе». Я смотрела то на одного, то на другого и понимала, что обоим мои пчёлы нужны гораздо больше, чем они признаются. Квиллу нужна опись, чтобы сказать «корона». Элиану нужен мёд, и хотя я не знала, зачем, глаза у него горели тем же жадным огнём, что и в первое утро. Я стояла между ними, как между двумя ульями, у которых в спор вступила матка, и думала: нет, милые, так дело не пойдёт.

– Да остановитесь вы оба! – наконец закричала я, и спор оборвался на полуслове. – Вы тут развели казённую канцелярию над моим живым хозяйством! Мне хоть кто-нибудь объяснит, что вы с моими пчёлами собираетесь делать? В бумажку заворачивать? У них взяток, они работают, им некогда ваши статьи слушать!

– Сударыня, – начал Элиан.

– Госпожа Липатова, – одновременно с ним сказал Квилл.

– Замолчите оба! – Я подняла руку. – Я отказываю обоим. Вы, милорд, мне пчёл пока отсрочили, и спасибо, но всю землю себе не забирайте. А вы, господин Квилл, мои ульи не опишете, пока я не позволю. Хотите посмотреть, что у меня тут растёт? Приходите завтра на площадь, при всей деревне, и я вам покажу, сколько мёда даёт одна семья. Будем считать десятину, как положено, всем миром, честно, чтоб потом никто не сказал, что я утаила хоть ложку.

Над склоном повисла тишина, и в ней, как скрипка, звенели пчёлы. Квилл долго молчал, барабаня чернильными пальцами по свитку.

– Мм, – произнёс он наконец. – Откачка мёда с публичным взвешиванием. Редкая просьба. С вашего позволения, это не противоречит ни одной статье, а в статье девятой даже поощряется. Хорошо, госпожа Липатова. До завтра я приостановлю опись.

– Одна оговорка, – вмешался лорд. – Я тоже буду присутствовать.

– Разумеется, милорд, – холодно ответил сборщик.

Они разошлись в разные стороны, не простившись. Я осталась на склоне с дрожью в коленях и с ощущением, что только что подписала себе приговор, который при этом отложили на сутки.

На следующее утро я поняла, что мне предстоит. Мы с Тоби и Джобом, который приехал на телеге с Бурым, увезли в деревню медогонку, четыре рамки с печатным мёдом, нож для распечатки, стол и сито, и на площади вокруг колодца собралась, кажется, вся Медвянка. Бабы с корзинами, мужики с трубками, дети, которым давно было велено сидеть дома, и, конечно, Хэтти с Молли. Молли оказалась громкой, пышной хохотуньей с полотенцем на плече, она тут же заявила, что за такое зрелище надо брать по грошу с носа, и покатилась со смеху от

собственной шутки. Из толпы то и дело кто-нибудь спрашивал: «А это правда настоящий?» и «А можно потрогать?», и я каждый раз отвечала: «Руками не лезь, сначала вымой».

Я надела чистую косынку, повязала фартук и, поставив рамку на стол, взяла распечатывающий нож. Пчелиный воск под лезвием снялся тонкой прозрачной стружкой, и на срезе, под солнцем, заблестела вся рамка сразу, янтарная, густая, тягучая, и по толпе прошёл долгий общий вздох. Я вставила рамки в медогонку, закрутила ручку, и сначала ничего не происходило, только что-то гудело внутри, как мотор. А потом из носика ударила струя, густая, золотая, толщиной с палец, и потекла в подставленное ведро, играя на солнце.

– А-а-ах! – сказали в толпе.

– Ох, святые угодники, – прошептал кто-то из мужиков. – Настоящий. Живой.

Дети вытянули шеи. Одна из старух перекрестилась. Молли утихла и вытерла глаза полотенцем. Я продолжала крутить и краем глаза видела девушку лет семнадцати, с двумя тугими косами и решительным подбородком, которая стояла у самого стола и не двигалась. Она не просто смотрела. Она будто и не дышала, вся подалась вперёд, и когда я меняла рамки, каждое моё движение она повторяла кончиками пальцев, тихо, чтобы никто не заметил. Мне вдруг стало тепло. Так смотрела я сама, когда мне было шестнадцать и отец впервые подпустил меня к улью.

Два ведра, три, пятое. В толпе шептались, считали, спорили, сколько кринок это получится. Лорд Дорн, как и обещал, стоял чуть в стороне, у колодца, со скрещёнными на груди руками, и лицо у него было неподвижное, как маска, только по тому, как он сжимал локоть, я понимала, что ему стоит усилий не броситься к ведру. Квилл, напротив, стоял рядом со столом, и его взгляд, острый, хозяйский, бегал от меня к ведру и обратно, а писарь Сайлас, перегнувшись над папкой, записывал в столбик. Когда он дошёл до цифр, у него дрогнула рука, и он что-то пробормотал себе под нос.

– Одиннадцать кринок с четырёх рамок, – объявил он наконец. – Нет, простите, господин сборщик, двенадцать.

– Мм. Благодарю. – Квилл подошёл ближе, тонкими пальцами обхватил край ведра и заглянул внутрь. Ноздри у него тонко дрогнули. – Следовательно, по закону о десятине, с вас, госпожа Липатова, полагается две кринки.

– Две кринки, – сказала я и отодвинула ведро. – Пожалуйста, господин сборщик. Вот, считайте. Кринки у вас есть?

Он сделал знак, и Эдмунд принёс из повозки две глиняные кринки с казённым клеймом. Я разлила в них мёд, сама, не торопясь, чтобы все видели, накрыла полотенцем и поставила на стол перед Квиллом. Потом выпрямилась, поправила косынку и сказала самым ровным голосом, на какой оказалась способна:

– Расписку, будьте добры, господин сборщик. С печатью. У нас без бумажки ты букашка. Он замер: думаю, за все восемнадцать лет службы ни одна чужеземка, ни одна мельничиха, ни один староста не говорили ему такого. Потом поправил очки и ответил: – Мм. С вашего позволения, госпожа Липатова, корона никогда не берёт без расписки, хотя подданные обычно не напоминают об этом вслух, – и обернулся к писарю, который уже достал бумагу и чернильницу. – Диктуйте, сударыня. Сайлас, записывайте.

Я продиктовала, стараясь не частить: «Принято от Аграфены Липатовой, пасечницы с Липового склона, медовой десятины две кринки. Седьмого июля». Сайлас дописал, и тут Квилл вдруг поднял палец и остановил его.

– Нет, – сказал он. – Мм. «Пасечница» не должность, а ремесло. В казённой бумаге плательщик значится владельцем, иначе десятина недействительна, и я не смогу сдать её в казну. Давайте так: «владелицы пасеки на Липовом склоне». Так порядок.

Он взял у писаря перо и сам, сам, собственной чернильной рукой, вписал это слово. Я смотрела на него и не верила: человек, который вчера хотел описать моё имущество, только

что собственноручно назвал меня его владелицей, потому что иначе нарушился бы казённый порядок. Пожалуй, это был самый странный подарок в моей жизни. Я промолчала, чтобы не спугнуть удачу.

– Ну вот, – сказал Квилл, и достал из кожаного футляра печать с чашечкой сургуча, – всё как положено.

Он накапал горячий сургуч, придавил печатью, и на бумаге остался чёткий оттиск: пчела под короной. Я взяла расписку обеими руками, перечитала дважды, до последней запятой, потому что слова человеку верить не привыкла, а бумаге верила. Потом сложила листок вчетверо и спрятала за пазуху, чтобы потом вложить в журнал.

– Благодарю, господин сборщик.

– Мм, – коротко отозвался Квилл. Он ещё раз окинул взглядом ведро, прижал платок к носу и сказал уже холодно, будто возвращаясь на привычное место: – Госпожа Липатова, вопрос о правах на пасеку остаётся открытым. Он должен быть решён в столице, и будьте уверены, что решение принесёт королевский указ. До тех пор вы можете находиться на склоне, но без права вывоза. Сайлас, в повозку.

Он повернулся и ушёл к своему дому на площади, не оглянувшись. Лорд проводил его взглядом, потом подошёл ко мне, неторопливо, как будто и не собирался этого делать, остановился у стола и посмотрел на оставшееся ведро.

– Весьма изящно, сударыня, – произнёс он тихо, так, чтобы слышала только я. – Вы только что заставили королевского сборщика собственноручно признать вас владелицей. Он, разумеется, этого не понял. Но поймёт, и тогда, смею предположить, захочет это исправить.

– Он вписал слово, милорд, и никакая статья его оттуда не вычеркнет, – ответила я, вытирая руки. – А вам спасибо, что не мешали.

– Я не оказал вам никакой услуги, – сказал он, слегка поклонился и пошёл прочь, к колодцу, мимо притихшей толпы, а я стояла и думала, что за всё это время он ни разу не посмотрел мне в глаза.

Когда толпа разошлась, ко мне подошла Пенни. Она переминалась, сжимала косы в кулаках и наконец выдохнула, не поднимая головы:

– Госпожа Липатова, а можно мне к вам? Учиться. Я могу таскать, мыть, делать что скажете. Только возьмите. Я всю жизнь про это мечтала.

– Придёшь на склон, – сказала я. – Завтра, с рассветом. Платков и шляп не надо, надо только слушаться.

Она просияла, и по её лицу я поняла, что слушаться будет безоговорочно.

Домой, то есть на склон, мы возвращались уже в сумерках, втроём: я, Тоби и Бурый с телегой. Тоби шёл рядом, сопел, вертел в руках щепку, а потом вдруг сказал, глядя себе под ноги:

– Госпожа Груня, а сборщик ведь так просто не отстанет. Он гонца в столицу пошлёт. Это у него в обычае. Придёт указ, и всё, будет, как он скажет. Вы бы подготовились.

– Подготовлюсь, – ответила я. – Бумаги у меня теперь есть.

Дома я достала журнал, вложила расписку между страниц, на седьмое июля, и придавила камнем, чтобы не унёс ветер. Руки у меня дрожали, не от страха, а от того, как странно оказалось выиграть. Я подошла к краю склона, выпить воды из фляги, и подняла голову к замку. На башне, в красном закатном свете, стоял один человек. Это был Элиан, и в его дыхании не было огня, только серая струйка дыма, которую ветер нёс прямо на мои ульи.

# Глава 4. Янтарная липа

Утром восьмого июля я открыла двенадцатый улей, и рамки засветились.

Не на солнце, где, как известно, и воск блестит, и капля сиропа горит стеклом, а в тени, когда я накрыла улей собственным телом, как делаю всегда, проверяя расплод. Я стояла в сетке, в плотном костюме, с дымарём в левой руке, и держала правой рамку, наклонившись над ней так, что свет из улья падал мне прямо на лицо. Свет был слабый, тёплый, цвета старой меди, и шёл он из каждой запечатанной ячейки, ровно, как идёт от свечи, поставленной за стекло. Я подумала, что у меня что-то с глазами. Потом подумала, что у меня что-то с головой. Потом, поскольку обе версии мне не понравились, повернула рамку к тени ещё раз, потом ещё, и ячейки светились всё так же, не мигая.

– Ну здравствуйте, мои хорошие, – прошептала я, потому что говорить громче не хватало духа. – Это вы что же такое навострились делать? Вы у меня и в Ташлах не светились.

Пчёлы гудели привычно, добродушно, и ни одна не ужалила, хотя я стояла, как дура, с открытым ульем на ветру и разглядывала их труды. Я вытащила третью рамку, четвёртую. На всех то же самое: из-под воска пробивалось янтарное сияние, а у самой кромки сот мёд уже стоял густой, тёмный, пахнущий липовым цветом, но не простым, не нашим, а каким-то глубоким, тёплым, с лёгким дымком, как от тлеющей коры. Я сняла перчатку, потому что тут без ритуала нельзя, поддела ногтем крышку одной ячейки и слизнула с пальца каплю.

Вкус оказался такой, что я села прямо на землю. Мёд был сладкий, да, но не приторный, а как будто тёплое молоко с мёдом и вареньем разом, и в то же мгновение это тепло пошло из горла вниз, в живот, в руки, в ноги, по всем жилам, по каждой жилке, до самых кончиков пальцев, как если бы кто-то налил в меня горячей воды. Я замерла. В пояснице, где у меня двадцать лет сидела тупая ноющая боль от ульев, от рамок, от того, что я таскала на себе всё хозяйство, вдруг стало легко. Совсем легко, будто там никогда ничего и не было. Я выгнулась, как в молодости, потянулась, и спина не хрустнула.

– Ох ты ж мать честная, – выдохнула я, и вот тогда мне, наконец, стало понятно, почему мёд тут дороже золота.

Не потому, что редкий. Потому что лечит.

Я так и сидела на траве, с рамкой на коленях, когда за спиной кто-то громко сглотнул. Я обернулась и увидела Пенни, которая стояла в трёх шагах, в платье, подвязанном шнурком, в косынке, натянутой на уши, с узелком в руках и с глазами во всё лицо. Она пришла с рассветом, как и было велено, и застала меня на коленях, как язычницу над костром.

– Госпожа Липатова, – прошептала она. – Он светится.

– Светится, – согласилась я. – И ты, голубушка, никому об этом не говори, пока я не пойму, что это значит. Договорились?

– Договорились, – так же шёпотом ответила она, а потом, после паузы, добавила: – Я вам хлеб принесла. И сыр. Мама сказала, что на пустой желудок с пчёлами не работают.

Мама у неё была умная. Я ела хлеб, глядя, как вокруг меня гудит склон, и в голове у меня постепенно складывалось, как на столе в мозаике, то, что я не желала складывать. Мёд лечит. Лорд на меня смотрел жадно. Сборщик понюхал ведро так, будто принюхивался к золотому слитку. Бабы на площади шептали «живой». Они тут не за пчёл дерутся, они дерутся за лекарство.

Я встряхнулась. Легче от этой мысли не стало, но стало яснее, а ясность для пасечницы лучше любого лекарства.

– Ну, ученица, – сказала я, надевая на Пенни запасную сетку, которая сидела на ней как мешок, – слушай. Первое правило: ты не боишься. Пчёла чует страх, как собака. Второе:

руками не машешь. Махнёшь, она решит, что на неё нападают, и сама нападёт. Третье: двигаешься медленно, будто в киселе, а говоришь тихо. Всё понятно?

– Понятно, – сказала Пенни, и по глазам видно было, что не очень. Я вложила ей в руки дымарь, показала, как раздувать, как держать носик, чтобы дым шёл белый, холодный, а не чёрный, и дала пробный урок прямо на втором улье. Сперва она тряслась так, что дымарь ходил ходуном, и дым стелился куда попало. Потом я поставила ладонь поверх её руки, выровняла, и она ахнула, потому что вдруг увидела, как дым укладывается по рамкам ровным облаком, а пчёлы разбредаются и затихают.

– Видишь? Они не злые. Они ждут, когда на них перестанут кричать.

– Совсем как люди, – сказала Пенни.

– Ох, милая, – засмеялась я. – Только пчёлы честнее.

Мы проработали до полудня. Пенни не жаловалась, не отпрашивалась, ни разу не ойкнула, когда одна пчела села ей на запястье, и только покраснела, когда я похвалила. К двенадцати она уже умела открывать улей, вытаскивать рамку и ставить её назад, а я поймала себя на том, что объясняю ей так подробно и охотно, как не объясняла никому лет десять.

Около часа дня на склон прибежал запыхавшийся Тоби, который с утра торчал в замке, и сообщил, что Хэтти велела мне быть на кухне.

– К лорду? – испугалась я.

– К Хэтти, – успокоил Тоби. – Она сказала: если не придёшь, она сама придёт с половником.

Триста ступеней вверх, до замка, оказались лестницей из серого камня, вытертой посередине, с редкими площадками, на каждой из которых хотелось помереть. Я одолела их пыхтя, обливаясь потом и ругая себя за то, что в сорок два года нельзя бегать с ульями по склонам, но на последних пролётах заметила странную вещь: дыхание у меня почти не сбивалось. Я улыбалась себе всю дорогу.

Кухня у Хэтти была огромная, каменная, с очагом, в котором мог бы поместиться добрый телёнок, с медными котлами по стенам и с длинным столом, заставленным мисками. Хэтти встретила меня на пороге, взяла за плечи и усадила прямо на лавку, не слушая никаких «я только на минуточку».

– Ох, деточка, наконец-то! Садись, садись, вот тебе суп, вот хлеб, а вот пирожки, я тебе пирожки напекла, ты же вчера на площади такая бледная была, смотреть страшно! Ешь, давай, а то там у себя на склоне хоть ветром питайся!

– Хэтти, да я…

– Ешь! – скомандовала она, и тут же, не давая мне открыть рот, принялась рассказывать. Рассказывала она о замке, о конюшне, о том, как Тоби повадился воровать у неё сахар, о Джобе, который сватался к ней двадцать лет назад, но потом передумал, и о том, как она ему этого не простила, но и не забыла. Рассказывала так вкусно и сочно, что я съела суп до дна, а потом принялась за пирожки, не замечая, как и когда.

– А про лорда ты что-нибудь знаешь? – спросила я, когда она на минуту остановилась перевести дух. – Он мне на днях на башне привиделся… то есть я вечером видела, что он стоит один и дымит.

– Дымит? – Хэтти замерла с половником. – Ох, деточка, да что ты, он у нас здоровый, как бык. Здоровее, чем когда-либо был. Я его маленьким помню: в семь лет уже огонь пускал, в школе поджёг учителю бороду. – Она отвернулась к очагу, и я заметила, что голос у неё стал тише. – Он в отца удался, в Эверарда. Тот такой же был, гордый и упрямый. Умер он, лорд Эверард, в восемнадцатом году, ещё молодой, только пятьдесят пять стукнуло. «От холода в груди», так в книге и записано. Что за холод в груди в июле, я до сих пор не пойму. Лето стояло, цвели луга, а он лежал в постели, под тремя одеялами и стучал зубами.

Я не нашлась, что ответить. Хэтти поставила передо мной кружку с травяным чаем, вздохнула, и тут же, будто устыдившись собственной грусти, махнула полотенцем:

– Ну что ты, деточка, зачем я тебе это всё рассказываю. Ты ешь. Расскажи лучше про свои ульи, про то, как у вас в тех землях пчёл делают. Я слыхала, вы их в ящики сажаете и кормите сахаром.

– Не всегда сахаром, – возразила я и принялась рассказывать, а потом незаметно мы заговорили про пироги, про соленья, про то, как моя мать делала варенье из лепестков роз, и я впервые за четыре дня засмеялась, не сдерживаясь, до слёз. Хэтти, оказывается, умела слушать лучше любого исповедника. К вечеру я знала, что у неё есть сестра в соседней долине, что она не любит козий сыр, что весной у неё сорвало ключ от погреба, и она полдня лазила в окно. А она знала про меня, про Ташлы, про маму, про Вадима, про ульи, про всё, кроме одного: почему я не плакала в день развода. Об этом я рассказывать не стала.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.